

**"Трудно — быть!"**

тественно выражается им в классических стихотворных размерах (более того, зачастую и проявляется именно в них), становясь в результате полноценной поэтической субстанцией.

А если говорить об иерархии, то Боже меня упаси отводить Иртеньеву в литературе то место, от которого он сам бы с гневом и возмущением отказался. Но, думаю, сегодня у него в ней весьма достойная позиция.

Что касается лично меня, то, как вы поняли, я ценю Иртеньева — человека и поэта — весьма высоко. Но (и это тоже, надеюсь, мне не удалось скрыть) свою точку зрения никому не навязываю.

В уже упоминавшемся отклике на уход Нины Искренко Иртеньев писал: "Выстраивание любых иерархий в искусстве — дело заведомо уязвимое, слишком силен и очевиден бывает эмоциональный момент...".

Для меня тоже в случае с Игорем очень силен эмоциональный момент. Я давно его знаю, счастлив быть его другом, поэтому оставаться полностью объективным все-таки не могу. Да, честно говоря, и не хочу. Во-первых, помня слова Пушкина (см. стр. 237), а во-вторых, согласитесь, причем здесь объективность, когда высказываешь исключительно свое мнение...



Таков сквозной мотив нового поэтического сборника Ильи Рейдермана, "Бытие", выпущенного издательством "Инга" в конце прошлого года. Это не дилемма Гамлета "быть или не быть". Здесь альтернативы бытию нет. Быть и участвовать в бытии — труд. Ибо все тяжелей быть духовно живым человеку в сегодняшнем мире. Поэтому в стихотворении "Долина", описывающем видение пророка Иезекииля, поэт, говоря о воскрешении мертвых, обращается, вероятно, и к нам: "Как снова стать живым? Как смерть избить?".

Предыдущая книга поэта называлась "Пространство". В этой господствует время. Уходящее время, убывающее время. "Жаль минуты. Уходит куда-то минута. / Жаль беспечно порхающего мотылька". Но в итоге: "Ах, как вечность прекрасна, как вечность горька". И в предыдущем сборнике, говоря о музыке Шопена, он писал: "Мост между вчера и завтра — / вечность. Звук ее мгновенный". Миг и вечность сопрягаются напрямую, они равны, как в "колдовском" (по словам Эйнштейна) "исчислении" квантовой физики. Впрочем, в напряженном "поле" поэтической мысли — физика встречается с метафизикой, с онтологией, с философией бытия.

Рейдерман представляет не часто встречающийся тип поэта-философа. Впрочем, у него за спиной почтенная традиция, идущая от Баратынского и Тютчева к Заболоцкому... Быть поэтом такого склада нелегко, ибо нужно мыслить, и притом не холодно и абстрактно мудрствуя и чеканя формулы, но мыслить всем существом своим, всей жизнью и судьбой. По моему мнению, Рейдерману это удастся. Он поэт утонченно культурный (что советской властью совершенно не приветствовалось), он наследник традиции, и чувствует в ней себя совершенно свободно, потому что не повторяет сказанного другими, а, говоря свое, эту традицию продолжает. В его поэзии не было и намека на привлекающую внимание "авангардность" — и получилось, что жил он и писал почти совершенно незаметно, не числясь в "списках", в которых обычно менее известные идут за более известными... Между тем, он всегда обращался к "городу и миру". Ему, рожденному под знаком стрельца, "земля всегда мала": звезды советуют ему жить на просторах Вселенной, а не только на квадратных метрах жилплощади. Тоненькая книжечка, выпущенная им к своему 65-летию, свидетельствует, что поэт эволюционирует, он обрел новые интонации, то почти шуточные, то прямо-таки "пророческие" в цикле "Библейские вариации".

В книге есть неизбывный трагизм жизни, горечь наступающей старости, но чем больше читаешь ее, тем ясней понимаешь, что перед нами вырисовывается не малое житейское "я", а "большое Я". То, которое вправе говорить с небом и с морем, с живыми и ушедшими от нас, с деревом и с Богом... Это Я упоенно и радостно растворяет себя во Вселенной. Перед нами поэт несомненно современный, поэт ноосферы, космического сознания. Это важно, потому что сегодняшний человек живет на маленькой планете и должен и мыслить, и чувствовать в ином "масштабе". Кстати, в свое время Анастасия Ивановна Цветаева, оценив дарование поэта, сравнила его стихи со стихами выдающегося ученого-космиста Александра Чижевского (тот читал ей свои стихи в лагере). Поэтическим учителем Рейдермана был москвич Андрей Сергеев, в свой черед — ученик поэта-космиста Николая Заболоцкого.

"Если бы воля моя уподобилась воле природы..." — писал Заболоцкий. Для Рейдермана этого "если бы", похоже, не существует: у него дождь "пишет стихи", а после дождя "провалишься внезапно в небо", осень сопоставляется с самим поэтом ("рифмуется осень со мной наконец..."). Даже "Одесса и осень рифмуются очень..." Без всякого пафоса, без человеческой гордыни поэт готов отдаться воле природы, воле бытия, склонив голову и колени, выше всего ставя гармонию с миром. Разумеется, заговорив о Заболоцком, я оставляю в стороне вопрос о масштабе дарований и не выдаю поэту-одесситу пропуск на поэтический Олимп (хотя как иначе судить поэта, как не по гамбургскому счету?) — я говорю лишь о мироощущении, мировоззрении, поэтической концепции мира. Приведу две цитаты из предыдущей книги "Пространство" (Одесса, 1997). "Давай с тобою поплачем — не то обмелеют реки..." Метафора, конечно, но как в ней неразрывно связано человеческое и природное... И, говоря о любви: "Но осанну прошепчу случайно / в миг, когда всего больней". Осанну любимой, осанну миру. Какое полное при-ятие, при-знание бытия со всем, что в нем есть!

Лично меня в какую-то не самую легкую минуту моей жизни очень поддержала строка из книги "Бытие": "Нет, не к победам стремиться, совсем не к победам!". И в том же стихотворении: "Сдаться на милость. Поверить неведомой воле. / Логике мира отдаться / она ль не мудра?"/.

Нужно постичь такие взаимоотношения человека с миром, чтобы понять загадочное высказывание Хайдеггера: в наше время поэты заменили святых и пророков. Мартин Хайдеггер, виднейший философ XX века, утверждая утраченное современными людьми бытие, называл его *Дазайн*,

буквально "тут бытие". Это Дазайн занимает по отношению к Бытию особую позицию: оно — не "рядом" с миром, а в-мире, внутри мира. Говорю об этом потому, что Рейдерман упорно изучал Хайдеггера, ибо и для него бытие является самой главной проблемой. И в своих стихах он пытается "быть-в-мире", быть с миром, глядеть на все как бы изнутри мира.

Вот стихотворение "Снегопад" — в нем нет привычной позиции человека, извне глядящего на падающий снег... Играя смыслом слова, поэт говорит: "Я засыпаю. Засыпаю / всю землю снегом. Я богат / как небеса...". Он сам — снежинка, он готов "снежинкой белой в думе черной / побыть, растаяв на лету".

Вот парадоксальность пространственно-временного "местопребывания" поэта:

Не властен я над этим веком,  
и надо мной не властен век,  
поскольку стал я снегом,  
снегом, уже почти не человек.  
Я засыпаю, засыпаю  
деревья эти и дома,  
тишайшей поступью ступаю  
там, где больница и тюрьма...

В этом снежно-нежном прикосновении ко всему — бережность и страдание. И любовь. Любовь, которая даже и не называет себя, но присутствует в воздухе между строк. Как писано в Евангелии (цитирую по памяти): "А если кто любви не имеет, тот, будь он хоть семи пядей во лбу — медь звенящая...". Поэт понимает бытие как такую тесную совместность существования, такую полноту соучастия, согласия, что все другу другу отзывается. Следовательно, без любви бытие становится чем-то невозможным, недостижимым. Без попытки, любя, разделить жизнь с Другим (будь то человек или весеннее деревце...): "У пониманья родная сестра — / боль, что внезапна, боль, что остра...". Кто любил — тот знает это.

...Натькаешься на строку: "Мы уже навсегда виноваты". Это и вина живых перед мертвыми, будь то ушедшие родители или дети, погибшие в результате Холокоста, которым посвящен пронзительный цикл "Мотылек"... Но, похоже, что это и вина перед живыми, перед бытием — мы его недолюбили, мы относились к нему недостаточно бережно. Мне вспоминается, что европейскую культуру называют "культурой вины", в отличие

от восточной "культуры стыда". Тейяр де Шарден считал, что духовную форму европейской культуры определил "иудео-христианский фермент". Не случайно в новом сборнике едва ли не центральным является цикл "Библейские вариации". Одесские поэты Борис Херсонский, Галина Маркелова — в своих стихах отправляются далеко на Восток, в Китай, в Японию. Рейдерман отправляется туда, где прародина европейского духа. Правда, среди прародителей есть еще и греки. Рейдерман не ушел в "эллинистичность" — в отличие от поэта, к которому он необычайно привязан, — Манделштама. Привязан до такой степени, что в предыдущей книге позволил себе дерзкую строку: "Все стихи Манделштама — написаны мной". Как бы утверждая свое с ним родство. В новой книге о Манделштаме напомним разве что ласточка, которая летит "в небо бросаясь вниз головой". Рейдерман хоть и пытался по примеру любимого поэта себя "эллинизировать", сочинял стихи об Одиссее, которые так и не включил в свои книги — но ничего у него не вышло. Истинным героем его стихов становится не Одиссей, а Моисей, от лица которого ведется повествование в небольшом диптихе "Куст". Это здесь звучат вынесенные в заглавие слова "трудно-быть". "Хочу быть, Господи, кустом, / в котором ты горишь", пишет поэт, имея в виду "неопалимую кушину". Не могу отказать себе в удовольствии процитировать финал этого замечательного диптиха:

Кривые ветви, ствол коряв.  
Весь в терниях — колюч.  
И всей души моей состав,  
О, Господи — горюч!  
Во мне одном и рай, и ад.  
О, как трепещет плоть!  
Я куст. Твои уста и взгляд.  
Я твой огонь, Господь!

В предыдущем сборнике поэта есть стихотворение "Куст", и там тоже горит огонь — "зеленый пламень". Здесь огонь другой — жжет! Возникает боль, необходимая для понимания... Рейдерман светский человек, но процитированное стихотворение я не побоюсь назвать истинно религиозным. В конце концов, ноосфера, сфера разума, воплощенное единство человеческого духа и природы возникнет лишь тогда, как писал Вернадский в одном из своих последних писем, когда придет к концу вражда между наукой и религией.

...Не раз и не два говорит поэт о высоте, которая открывается между облаками, о высоте человеческого духа, вообще о высоте, с которой должно смотреть на нашу обыденность... И даже во вроде бы легкомысленных, незатейливых "Одесских этюдах" вдруг прорывается: "Созданная для полета / и высотой дыша, / видимо, знает что-то, / только молчит душа". Душа молчит — она же и говорит то, что нужно уметь услышать и вместить в наши куцые слова. Говорение (в т. ч. и писание стихов) — один из важнейших актов человеческой жизни. Клинтон Гарднер, американский последователь Бахтина, сферу говорения назвал "орасферой" (от латинского "ораре" — говорить). "Нужное слово — это в буквальном смысле современное слово, то есть такое, которое на самом деле продвигает человечество к будущему, способствуя осознанию людьми полноты человеческой бытийственности", — пишет он. В поисках такого "нужного слова" и живет поэт. "Ведь если нечто не назвать, / не поименовать, / грядущее придет как тать, / беды не миновать", — пишет Рейдерман. И упоминая о немоте, говорит: "Затем и ищем слово, чтоб сейчас / сказать, сегодня, до летейской стужи..." И, видимо, имея в виду свою довольно "глухую" поэтическую судьбу, добавляет: "И я коплю молчанье между строк, / но все же говорить — имею право".

Нет, не зря Павел Антокольский водил совсем еще юного поэта в редакцию газеты, рекомендуя его стихи. Не зря Анна Андреевна Ахматова "благословила" поэта, и это помогало ему несмотря ни на что продолжать верить в себя. Он доказал свое право на поэтическое Слово. И говорит о самом главном — о единении человека с миром, о Бытии, как самой насущной проблеме сегодняшнего и завтрашнего дня.

